Времена

Блок 6 № 124 Вторник, июля, 1994

Сегодня. – 1994. – 5 июля. – с. 9.

66 лет назад

Голоса

Возвращение блудного буревестника

Первый приезд Горького из Италии в СССР в 1928 году был обставлен, как известно, торжественно, с официальной помпой. Этим событием был положен конец почти семилетней полуэмиграции писателя (его отъезд из России в октябре 1921 года был замаскированной высылкой). Горький прибыл в СССР 27 мая 1928 года и вернулся в Сорренто 19 октября. В советской печати этот визит блудного буревестника, совпавший с его 60-летием и 35-летием литературной деятельности, освещался очень широко.

Писатель подготовил почву для своего приезда. В конце 1927 года в «Известиях» и «Правде» появились статьи Горького «Десять лет» (о достижениях страны Советов) и «Анонимы и псевдонимы» (об интеллигенции). Статьи, открывавшие новую горьковскую публицистику, были полны ругани в адрес эмиграции и оправдывали жестокости советского режима. Свои взгляды времен «Несвоевременных мыслей», когда он резко высказывался по адресу большевиков в газете «Новая жизнь» (1917–1918 гг.), Горький теперь называл ошибочными. «Жестокость, – писал он в «Известиях», – возникающая в народе из чувства мести за те бесчисленные и циничные мучения, которые он пережил, и есть жестокость самозащиты народа, окруженного тайнами и явными предателями, непримиримыми его врагами. Эта жестокость вызвана и тем самым – оправдана».

Два материала, которые публикуются здесь, – это отклики на выступления Горького в советской печати и на его путешествие в СССР. Отклики с разных сторон, из двух миров, никак не связанные друг с другом, но близкие по существу. Это голоса старой русской интеллигенции, пути которой и Горького резко разошлись в те годы.

Пребывание Горького в СССР было отмечено в парижской газете «Дни», редактировавшейся А. Ф. Керенским, краткой редакционной заметкой и статьей без подписи «Вернувшемуся Горькому» («Дни», 28 октября 1928). Автором статьи был русский писатель Михаил Осоргин, в это время заведовавший литературным отделом «Дней», старый знакомый Горького и его постоянный корреспондент.

Другой документ – это одно из множества писем, посланных Горькому в Италию из советской России к его юбилею в 1928 году. Письмо написано Софьей Владимировной Короленко, дочерью знаменитого писателя. Шестьдесят с лишним лет оно пролежало в закрытом фонде архива А. М. Горького.

Ирина Бочарова

Вернувшемуся Горькому.

Максим Горький вернулся в Европу. Счастлив удел человека, которому для выезда из России на отдых, на лечение, на обдумывание впечатлений пережитого не требовалось настойчиво и долго добиваться паспорта, виз, денег на дорогу, который может и за рубежом разговаривать, с кем пожелает, жить в условиях европейского буржуа и оставаться не только лояльным гражданином СССР, но и любимцем публики, и Вениамином советской власти.

В этих словах нет никакого упрека или укора: это — искренняя радость по поводу того, что есть еще граждане, не лежащие под властной пятой, могущие свободно передвигаться и жить одновременно для пользы отечества и для собственного блага. Пожалуй, немножко и зависть; но Горькому завидуют не столь здесь, сколько там, его недавние собеседники, ученые, писатели, рабкоры, селькоры, все те, которые ему писали и пишут письма и которым он так охотно и дельно отвечает. Обладай они тысячной долей его прав и привилегий — они, пожалуй, не стали бы беспокоить его не всегда скромными вопросами.

На ряд таких вопросов и не всегда справедливых упреков он недавно ответил в советской печати. Он ответил остроумно тем, кто писал ему глупо и вызывающе. Ему писали, например, что 99 сотых русского населения его ненавидят: он ответил, что это неправда и глупость, что он не мнит себя таким грандиозным человеком, которого могли бы ненавидеть сто миллионов людей. Но Горький не сумел ответить тем, кто писал ему не бранные слова, а искренние признания.

Так, один студент писал ему, что, прослушав курс социальных наук в духе марксистском, он сделался чистым индивидуалистом. Горький ответил ему мимоходом грубоватой и презрительной отпиской. За словами студента он не почувствовал трагедию русской молодежи, миросозерцание которой слагается не в порядке свободных восприятий, а в порядке оппозиции навязываемым идеям. Не потому «индивидуалист», что пришел к этому сам, путем размышлений и научной работы, а лишь потому, что ему пытались навязать резко противоположное миросозерцание, предавая все анафеме, и не «идейной», а «практической», с вытекающими из сего лично для него последствиями. Если бы Горький поразмыслил о том, что насильственная апология советского строя может в людях слабых рождать идею «спасительного монархизма», что это естественно, что в этом немалая опасность для строя, который он так ценит и одобряет, — он не ограничился бы отписками и свысока брошенным словечком.

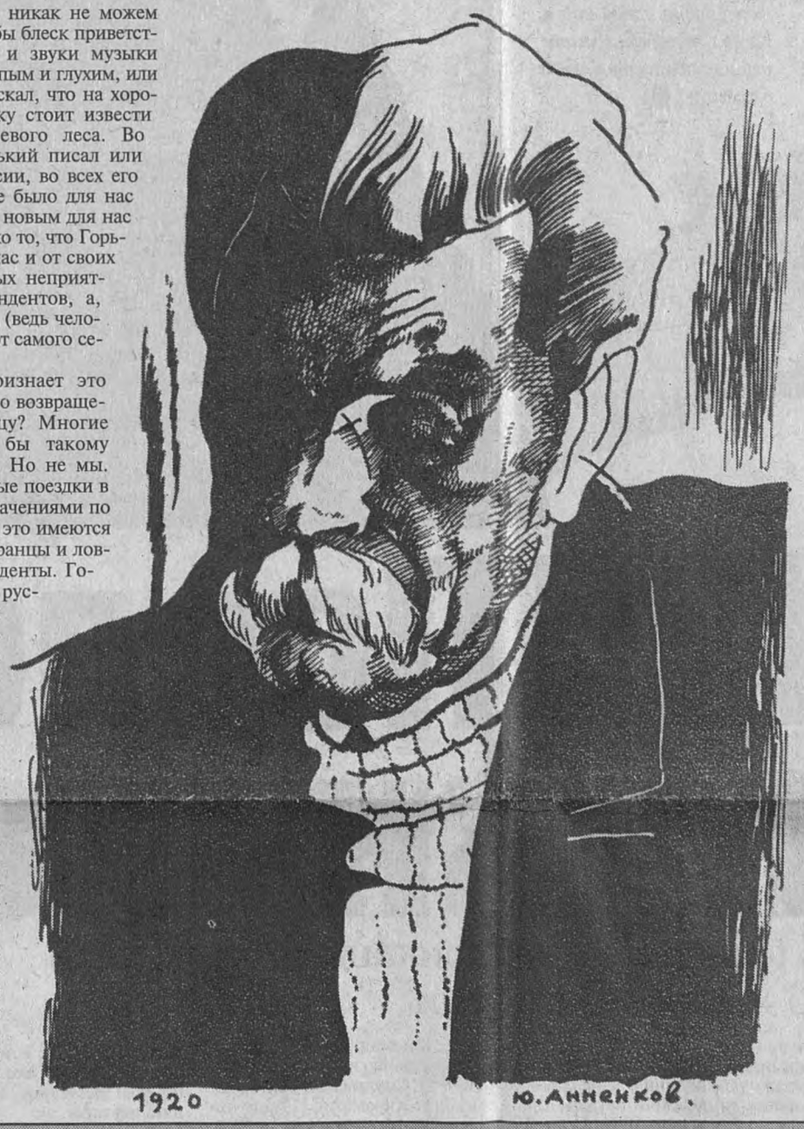
Таких корреспондентов (увы, они не могли не быть анонимами, они приучены жизнью не доверять даже знаменитому писателю!) было у Горького много. Он всем им ответил презрительно, поручившись в том, что Россия идет к завоеванию невиданных духовных красот, что он сам это видел, что он это наверное знает. Прекрасная уверенность, благословенная надежда!

Но ведь возможно, что этой надеждой живут и его корреспонденты, — и оттого страдают не менее. Они видят, что на путях этой надежды нагорожены баррикады, о которые она может ежечасно разбиться. И они пишут ему, человеку, вознесенному судьбой и талантом, единственному, который мог бы сказать вслух всякое слово, ничего не боясь и ничего не теряя. Что может потерять человек на склоне лет, всемирно известный, совершивший все, что ему было суждено свершить, если бы даже ввергнули его в узилище и лишили его официального поклонения? От него ждут этого слова, — но не отписок в духе обычных статей «Известий», «Правды» Коганов, Фриче, Луначарских, Рыклиных, Кольцовых, маленьких и больших чиновников, работников суконного казенного языка. Пишут Горькому, а не замкому и управделу, пишут, может быть, грубо и неуклюже, — но на то он и писатель, чтобы за внешней грубостью почувствовать душу, искренне болящую. Но Горький этого не понял.

Неправда, конечно, что Горького в России все ненавидят. Но правда, что он, с легкостью, доступной только людям большой славы, мог бы стать кумиром читающей России, если бы только раз, только полунамеком подтвердил то, что он писал когда-то, — что это безумие думать, будто благо страны может быть достигнуто путем правительственного террора. Хотя бы только одно это, но вслух и без боязни. Если бы хоть раз он вспомнил, что вся его молодость и зрелые годы прошли в борьбе за освобождение человека от внешних и внутренних пут, что «человек — это огромно», и что этот Человек, сердцу его любезный, стал в стране, ему дорогой, бессловесной пешкой, запутанным и трепещущим животным, способным мурлыкать с оглядкой свой протест только в долгой очереди за крупой, когда все равно грозит голодная смерть...

Он очарован «достижениями»?! Счастливый человек, способный покупать, не спрашивая купца о цене. Не менее его мы радуемся достижениям и даже в надежде на дальнейшее не хотели бы от него отставать. Но, ценя в Максиме Горьком наблюдательного писателя, никак не можем допустить, чтобы блеск приветственных огней и звуки музыки сделали его слепым и глухим, или чтобы он допускал, что на хорошую зубочистку стоит извести десятину строевого леса. Во всем, что Горький писал или говорил о России, во всех его «открытиях» не было для нас ничего нового: новым для нас оказалось только то, что Горький скрыл от нас и от своих многочисленных неприятных корреспондентов, а, может быть, — (ведь человек слаб) — и от самого себя.

Или он признает это лишь теперь, по возвращении за границу? Многие обрадовались бы такому просветлению. Но не мы. Образовательные поездки в СССР с разоблачениями по сю сторону: на это имеются знатные иностранцы и ловкие корреспонденты. Голос большого русского писателя должен звучать в России: здесь же он прозвучал бы «белогвардейской трубой». Как ни любопытно и даже ни полезно было бы такое запоздалое выступление, нужно надеяться, что им не унизит своего личного достоинства писатель, которого с таким нетерпением ждали в России и с такой усмешкой проводили...



«Я не псевдоним и не аноним...»

Дорогой Алексей Максимович.

Сейчас, когда со всех сторон Вы получаете выражения любви и памяти, мне хочется послать Вам также и мой привет.

Я помню, уже известным писателем Вы приехали в Петербург, выступали где-то в собраниях, пришли к нам. По словам взрослых, Вы держались там както странно вызывающе, резко и грубо. Когда Вы пришли, я с огромным интересом вглядывалась в Вас — в манере, фигуре и словах стараясь уловить то, о чем слышала. Помню, с отцом Вы ходили взад и вперед по комнате, говоря, кажется, об интеллигенции... Простая синяя косоворотка, безыскусственные манеры и какая-то особенная искренность, которой звучала Ваша речь, победили сразу мое детское воображение, и я долго с сочувствием следила из угла комнаты за Вами и отцом и старалась не проронить ни слова в вашем разговоре. Видала Вас и позже, научилась любить правду, простоту и искренность ваших произведений, интерес к человеку и неограниченность любви и ненависти, которую в Вас чувствовала.

Такое отношение к Вам теперь позволяет мне в привете, который шлю издалека, сказать и о том, что глубоко огорчило в Ваших последних выступлениях... Вы уже давно из России, ни газеты, ни письма, ни сообщения друзей не могут дать непосредственного ощущения жизни родины, которую Вы так глубоко понимали раньше.

Вы помните те глухие неподвижные годы, когда издалека было слышно только гробовое молчание великой страны, которую так спокойно и с такой видимостью права представляло перед Европой официальное правительство. Но глубоко, среди бесправия, молчалинства и лжи, среди страдания и рабского терпения уже начиналось движение освобождавшегося человека, и Вы услышали слова правды и свободы на самом дне нашей жизни. Там Вы нашли черты человека, более нужные для его истинного образа, чем все благополучные добродетели, позволявшие мириться с мертвым покоем разлагавшейся жизни. И Ваши образы и песни говорили о том, что жизнь непобедима.

Теперь, после бурь и гроз, в нашей стране опять гробовое молчание и мертвый покой. И чтобы почувствовать, что происходит в глубине этого человеческого океана, чтобы уловить жизнь за этим упорным молчанием родины, нужно чуткое внимание художника. И сейчас, как и раньше, Вам о ней сказали бы, может быть, больше те, кто на дне нашей жизни способен подняться над своим личным страданием или те, для кого стремление к правде и свободе дороже своего личного благополучия. Живя здесь, в России, Вы увидели бы, как веяние бюрократизма превращается в огромной стране в стихийное явление, уничтожающее и мертвящее всякую творческую инициативу, создающее почву для волокитства, воровства и победы прислуживающейся бездарности.

Вы увидели бы дно нашей теперешней жизни — среди безработных, выкинутых за борт в этом человеческом океане, без надежды на помощь, среди тех, кто еще не выкинут, но не уверен в завтрашнем дне. Вы увидели бы собрания, на которых не услышишь ни одного живого слова, потому что там, где свободное высказывание требует героизма, масса тупо молчит и тупо голосует, угрюмо затаивая недовольство. А когда случайно раздастся свободный голос, к нему прислушиваются со страхом и радостью. И сейчас, по-моему, стало заметным явлением, что эти свободные голоса, по большей части – голоса чудаков. Уж такова видно судьба России, что и сейчас, как во времена грозных царей, говорить свободно не боятся только юродивые. Разумные за это в Сибири, в тюрьме и в ссылке. Вам ли осуждать голоса, говорящие, что борьба за жизнь и за свободу неистребима, что их не заменить никакими суррогатами.

Мы десять лет слышали бесконечные залпы расстрелов — неужели месть является оправданием для этой волны жестокостей? Разве это не одно из самых низких чувств, не укрепляющих, а обессиливающих ту сторону, которая им охвачена? Разве кто-нибудь, творящий жизнь и будущее, не откажется с ужасом от объяснения своих поступков чувством мести? Ее можно понять и простить только как стихийное явление. Но даже и во время самых бурных вспышек народных движений — в пугачевщине, например, — в народной мести было меньше жестокости, чем в систематическом правительственном терроре. Во время нашей революции вспышка народной мести тоже не была ни длительной, ни жестокой. Весь ужас бесконечных расстрелов, тюрем концентрационных лагерей – это не месть, а холодная спокойная система правительственного террора, применяющего их как испытанные средства всякого правительства...

Еще в 1893 году отец записал: «Закон жизни есть вечное стремление, и вопрос не в том, кто достиг уже всего, а только в том, кто сильнее стремится и кто большего достигает... Рая нет и не будет, недовольство не замрет, пока будет теплиться жизнь. Совершеннейший строй не тот, который признал себя раем, не подлежащим дальнейшему улучшению, а тот, который закономернее, легче и здоровее дает исход новым стремлениям, порождаемым вечными законами жизни...».

В огромной стране остановлена свободная мысль, движение, инициатива, — значит ли это, что мыслителю не над чем думать, художнику нечего видеть, кроме того, что проходит через официальную цензуру?

Алексей Максимович, я не псевдоним и не аноним, но я думаю, что многие из молодежи, воспитавшиеся на Ваших произведениях, так же, как я, горячо любящие Вас как писателя, может быть, любящие больше других, вместе со мной почувствовали боль от вашей небрежности, от легкости, с которой Вы отмахнулись от всего того, что наша история и жизнь поставила перед нами как труднейшую задачу.

Простите, что в этом привете такие не юбилейные ноты, но правду я считаю самой лучшей формой уважения к тому, кому ее можно высказать, а я всю жизнь уважаю и люблю Вас.

С. В. Короленко

12 января 1928 г.